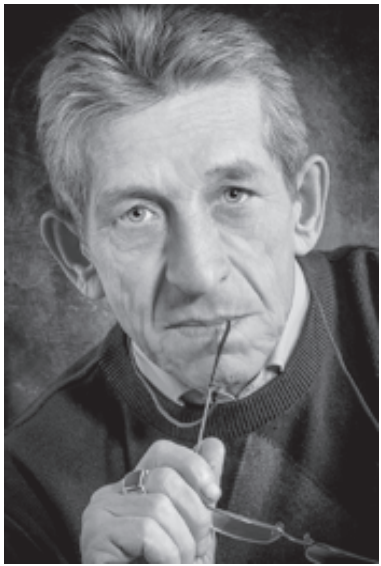


Миниатюры

✎ Владимир Рыбак



Встреча

Ну, здравствуй, друг! Это я, Николай Зернов. Что, не узнал? Не мудрено. Сколько годков-то прошло-пролетело, как мы с тобой расстались. Помнишь тот день, бой жаркий у железнодорожной насыпи, как фашисты обложили нашу роту со всех сторон? Думали, что все останемся здесь, у этой проклятой железки. Да нет, уцелели те, кого бог уберёт.

Не забыл земляка моего Петра Свирина, старшину нашего? Заботливый был мужик, душевный к солдатам. Помню, как он всё о своих сыновьях нам рассказывал, планы строил насчёт их устройства жизни. «Всех в люди выведу, – говорил он, – образование дам». Да не суждено было сбыться этим мечтам. Снайпер, сволочь фашистская, подстерг моего земляка, когда он солдат в атаку поднимал. Сразу насмерть сразил. Помнишь, наверное?

А сыновья его живы-здоровы, продолжают род Свирицкий. Встречаюсь я с ними. Ладные мужики, крепко стоят

Светлой памяти полёт

на ногах в жизни! Уже дважды приезжали они со своими детьми сюда, на могилку своего батьки. Это правильно, что не забывают, кто их народил. А ещё правильной, что детей своих, внуков погибшего Петра, приучают чтить память о дедушке, о тех, кто кровь солдатскую проливал.

И вот о чём я думаю, друг. Не пропало семечко родовое Петра! А вот род Вани Шадрин начисто кончился. Под корень срубили фашисты. Его отец не вернулся с финской войны. Двое братьев захоронены где то под Сталинградом. А Ваню смерть здесь нашла. И сейчас он у меня перед глазами: молодой, с копной чёрных волос и почему-то с виноватой улыбкой на лице. Вот так оно бывает!

Где остальные наши? Семён Хворостенко под Берлином лежит, Сашка Бережной – под Прагой. Вдвоём мы с тобой остались на земле. Чуть не унесла костлявая и меня в бою возле насыпи этой проклятой. Да ты спас от пули, заслони мою жизнь своим телом. Вот такая жизнь она, друг!

...Тяжёлой походкой уходил солдат в сторону большака. Вслед ему шелестел листвою израненный пулями вековой дуб.

Чья доля дороже?

Схоронили деда Петра быстро. Какие-то обшарпанные мужики с полупьяными рожами засыпали комьями могилу, собрали лопаты и чуть поодаль распечатали ещё одну бутылку водки, занюхивая каждую стопку полынью. Да и поминальный обед в доме старшей дочери был скорее похож на вокзальную трапезу, когда на станцию вот-вот должен прибыть твой скорый поезд, а ты на ходу съедаешь одинаковую везде резиновую котлету.

Не успела закрыться за последним человеком калитка, как на веранде разгорелись страсти: сыновья и дочери начали делить нажитое отцом добро. Правда, разной там утвари и мебели не касались. Главный спор разгорелся вокруг добротного дома деда, за который можно было урвать хороший куш. Все считали, что большая доля должна достаться одному.

В этом дележе и подсчёте, кто сколько раз приезжал проведывать отца и кого он крепче любил, не принимал участия лишь средний сын. Он сидел на скамейке у вишни, доставая своей единственной, и то покаленной на фронте, рукой сигареты и дымил, как та печная труба в морозный день.

– Что же ты, Георгий, долю свою упускаешь? – подала голос через плетень соседка. – Ты же самый любимым сыном был у покойного. Лекарства ему возил, ухаживал. Не упусти момент!

– Я свою долю уже взял, – ответил он и кивнул на подушечку с орденами Красной

Звезды и Отечественной войны. Ту самую, которую ещё два часа тому назад по дороге на кладбище впереди гроба с дедом нёс белокрысыный паренёк.

Часы с кукушкой

Тракторист Пётр Подгорный купил в райцентре гостинный гарнитур. Полированные до зеркального блеска шкаф, сервант, яркая обивка дивана до неузнаваемости преобразили пятистенку Подгорных. Она стала городской и совершенно незнакомой для домочадцев.

Большую часть мебели поставили в зал, а книжный шкаф и кресла хозяйка решила разместить в угловой комнате старого Подгорного.

– Не нужны мне ваши доски, – запротестовал он. – И без ваших кресел обойдусь! Не привык я на них штаны протирать...

Заспорили. А старик на своём как кремень стоит. Сын со снохой удивляются: ведь красиво и как у всех сейчас! Но невдомёк им, что старая железная кровать, часы с кукушкой на стене, окошко с занавеской и вся обстановка в комнате напоминают старику о старшем сыне Иване, без вести пропавшем в Великую Отечественную войну. Прокрутит деревянная птаха из часов пять раз, и просыпается старый Подгорный. Чудится ему, что встаёт с железной кровати Иван. Потягивается до хруста костей и говорит: «Опять ты, батя, не разбудил пораньше». Он шёл в пристройку, выпивал почти до дна кувшин с молоком и шёл по утренней росе на покос. А в 42 году вот так же по утренней зорьке ушёл с котомкой на призывной пункт. И всё, пропал. Всего-то одно письмо и успел прислать домой, которое хранится у Подгорного в укромном месте.

А если уберут эту кровать, то где будет спать его старшой? Не убедили деда сын со снохой. Так и остались в комнатухе часы с кукушкой и кровать. Как и осталась память о не вернувшемся с поля брани сына.

Посылка

«Небось стар я уже. Помру скоро. А тут фашист проклятый к самой Москве подошёл. Пётр, старшой мой, где-то там, под Наро-Фоминском сгинул. Двое младшеньких, Коля и Федька, по осени ушли на фронт, да что-то ни слуху, ни духу от них. А Петра жалко. Друг его, однополчанин, письмишко прислал с фронта. Пишет, что кровью он истёк, когда две ноги ему разом оторвало.

Оно бы и мне ещё можно трёхлинейку снарядить на врага, Да ноги дальше завалинки не несут. А бывало, с карабином на медведя в тайгу ходил, кабана добывал. Но, видно, вышел мой срок. Потому решил подмогнуть вам с врагом бороться своим чудо-корнем. Знал бы, где сыновья воюют, так им бы посылку отправил, но поспешать надо. Коренья собирал на опушке, которую в детстве ещё прадед показывал. По его же рецепту и настойку делал. Выпейте, сынки, по глоточку хотя бы. Теплее станет, силы прибавятся. Да и глаз острее будет, рука – крепче. И бейте немцев до победы. Тогда и я помру спокойно. С тем низко кланяюсь. Дед Федот с заимки Розовой. Сибирь»

...Ротный сложил письмо и оглядел уставших солдат. Завывая по-волчьи, ветер тянул по белоснежному полю позёмку. Крепчал мороз, загоня пехоту на дно промёрзших окопов. Командир открыл баклажку и, сделав глоток, протянул солдату. Тот тоже отхлебнул горьковатую, пахнущую землей и травами настойку и передал товарищу. И пошла по кругу баклажка деда Федота, поднимая со стылой земли роту.

До начала третьей атаки за высоту оставалось десять минут.

Поэзия

✎ Александр Лозневой



Ночь в Новороссийске

На посту притих тревожный тополь, штык макушки в небо занеся. Вот сейчас в огонь под Севастополь улывут мои последние друзья.

Вот сейчас корабль, готовый к бою, выберет из бездны якоря. Дай вам, други, счастье боевое – вновь ступить на берег с корабля.

Победить, вернуться в этот город... Так далёк и труден тот возврат. Ходят «хейнкели», как демоны, над морем, И сердца огнём у нас горят. 1942

«О тех, кто уже не придёт...»

У старой карты

Вот на этой тропке, что на карте пунктиром, я, голодный и мрачный, вставал под огнём. Не мог уступить ни «пантерам», ни «тиграм», примириться не мог с кровожадным зверьём.

Я на зверя, как зверь, выходил. А если б иначе – не победил. 1943

Маринка

Про Маринку, про сердце её будет это сказанье моё. Начал дед, опершись на костыль, белорусскую повесть-быль.

Было так: перед самой войной за отменные, слышь, дела в Крым послали Маринку весной. Отдохнула там, подросла и оттуда в Полесье, домой, виноградный росток привезла.

Посадила. Пошла водой: встань под солнцем листвою резной! И поднялся, окреп росток, будто в жарком своем Крыму. Ждёт Маринка – приходит срок первым цветом кипеть ему.

Да куда там – огонь и смрад! Лихолетья пора подошла.

Закатили солдаты орудия в сад, Зазвенела немецкою сталью пила.

Заметался пожар на селе. Встала смерть и пошла по земле. Побрела с автоматом она по крестьянским дворам: от окна до окна, ненасытна, люта, голодна...

Не стерпела Маринка. Кто смерти рад?.. По тропинке в леса ушла. Мстила ворогу, как солдат: подрывала, рубила, жгла. Далеко её путь пролёг. Листья падали. Подступала зима. В полночь, помнится, только прилёг – заявилась, пришла сама.

И такая на вид боевая, и рада, видать, до слёз!.. Но тут, как назло, въезжает в деревню немецкий обоз. Дитя, говорю, родное, вот одёжка твоя, сапоги... Скорей, говорю, в Заречье, в старый урман беги!

Как случилось – и сам не знаю: метнулась сперва к сараю, затем по запруде – в сад. А там, кусты раздвигая, навстречу – чужой солдат.

«Хальт!» – ощерился враг. Сталь сверкнула в его руках. Эхо свистнуло и затихло, растворилось в чащобе лесной. Спит Маринка, а может, не спит под сосной. – Смерти, может, и вовсе нет, – наклоняясь, мне шепчет дед. – Чуешь, каждый листок поёт: здесь оно, её сердце, живёт.

Я смотрю на осенний сад. Виноградные листья на солнце горят. Груши, яблоки зреют в саду... Золотые, литые, на чистом меду.

Прощание

На перроне оркестр, золотые трубы. И притихли, и замерли девичьи губы.

Помутились зрачки недоласканных глаз. И крик: «По вагонам!» – как первый приказ.

Ты одна среди нас медсестра на плацу. Так по швам, по-военному, руки.

И ни мне, ни другому бойцу, а тому, что в толпе, удалцу улыбку на счастье, а может, на вечные муки.

Под Ленинградом

Светает. Команда звучит: по местам! К орудиям, хлопцы, Отчизна зовёт.

На небе последняя гаснет звезда. Не знаем, кто вновь до звезды доживёт.

Не знаем, но верим, что кто-то из нас воскреснет из мёртвых в назначенный час. И сядет за стол, и победную чарку нальёт. И молча напомнит о тех, кто уже не придёт.

Возвращение

Я иду на Магнитную гору, как в тридцатом, по тропке крутой. Разреши доложить тебе, город: я вернулся из некла живой.

Над рекою в дали синеватой, ты уже и на том берегу. И радостно мне, солдату, что у города я не в долгу.

Здесь когда-то сажал я деревья, домны строил, дома поднимал... Мне броню боевую доверил сам великий Урал-генерал.

Дал в дорогу мешок с сухарями и – вперёд – приказал, иди! До Берлина дошёл я с боями, сто смертей у меня позади.

Вновь гляжу, не могу наглядеться на железные эти края. На магнитное доброе сердце, что навек притянуло меня.